

18+

Я ещё здесь

повесть

ДЕНИС ШЕВЕЛЁВ

Денис Шевелёв

Я ещё здесь

«Издательские решения»

Шевелёв Д.

Я ещё здесь / Д. Шевелёв — «Издательские решения»,

Дима — обычный мальчишка с окраины: жареный лук на кухне, синий велосипед, который отец чинил по ночам, мамина колыбельная, которую он ни разу не дослушал до конца. У него есть дом. А потом дома не станет. Тихая и страшная повесть о том, как человек проваливается из тепла в холод, по одной ступеньке, так что никто не успевает поймать. Он просит только об одном: не бросай на середине. 18+. Сцены насилия, темы зависимости и утраты.

© Шевелёв Д.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Часть первая. Свет	7
Глава 1. Кухня	7
Глава 2. Отец	8
Глава 3. Песня	9
Глава 4. Море	10
Глава 5. Двор	11
Глава 6. Новый год	12
Глава 7. Последний хороший день	13
Глава 8. Маленькие дни	14
Часть вторая. Трещина	15
Глава 9. Человек, который ищет работу	15
Глава 10. Запах	16
Глава 11. Светлые промежутки	17
Глава 12. Школа	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Я ещё здесь

Денис Шевелёв

© Денис Шевелёв, 2026

ISBN 978-5-0070-7373-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Меня звали Дима. Мне было одиннадцать.

Я расскажу про маму, про отца и про то, что от нас осталось. Начну с хорошего — пускай сначала будет тепло. Потом тепла не будет долго, так что бери, пока дают.

Только не бросай на середине. Все бросают, когда становится больно. А мне это рассказывать больше некому.

Часть первая. Свет

Глава 1. Кухня

Дом начинался с запаха.

Не со стен — стены есть у любой коробки. Дом узнаёшь на лестнице, за два этажа, и ноги сами идут быстрее. У нас пахло жареным луком, а сверху чем-то сладким, будто на луке лежало яблоко. Это мама так готовила — клала в кашу тёртое яблоко, и весь третий этаж знал, что Лена опять чудит.

Я приходил, и она оборачивалась от плиты. Всегда оборачивалась.

— Дим, руки, — говорила первым делом. Не «привет», не «как школа». Сначала руки. И только когда в кране шумела вода, добавляла в спину, помягче: — Замёрз?

А ещё она любила меня причёсывать. Волосы у меня были светлые, мягкие, вились крупными кудрями, и мама, намочив ладонь, укладывала их и потом любовалась, отойдя на шаг. Соседки во дворе всплёскивали руками: «Лен, да он у тебя чисто ангелочек!» И то правда — лицо у меня тогда было ангельское, иначе не скажешь: большие светлые глаза с длинными ресницами, чистая кожа, круглые щёки. Меня это смущало — какой из пацана ангел, мне бы в футбол гонять. А теперь думаю: это и была последняя примета, по которой во мне ещё можно было узнать домашнего, любимого мальчика. Скоро и её не станет.

Маму звали Лена. Дети не зовут маму по имени, для них она просто мама, одно слово, как «хлеб». А я почему-то всегда помнил, что у неё есть имя. Короткое, как вдох. Тонкие руки, прядь, которую она убирала за ухо мокрым запястьем, чтобы не запачкаться в муке.

И она пела. Свою песню, не из радио. Сама придумала, когда я был маленький и не спал, и слова были простые, чуть кривые:

«Спи, мой свет, и я усну,
я тебя не отпущу,
будет утро, будет день,
прогоню я злую тень».

Глупая песня. Я её стеснялся, когда подрос. Один раз сказал: «Хватит, я большой». Мама засмеялась и не пела три дня. На четвёртый я попросил сам. Тихо, чтобы отец не слышал.

А пока — пар на окне. Лук шипит. За окном мокрый февраль, а у нас тепло, и мама поёт, и мне кажется, что так будет всегда.

Все дети так думают. Им же никто не говорит, что «всегда» — это просто слово, которое взрослые придумали, чтобы ты уснул.

Глава 2. Отец

Отца я тоже любил. Это потом всё запуталось, и я долго не понимал, можно ли любить того, кто сделал то, что он сделал. Оказалось, можно. Это самое тяжёлое, что я узнал.

Звали его Сергей. Большой — не толстый, а большой, с широкими ладонями. Когда он клал ладонь мне на затылок, она накрывала пол-головы, тёплая и тяжёлая, и я под ней был как дом под крышей.

Он работал на комбинате. Уходил затемно, и я слышал сквозь сон, как он пьёт на кухне чай — ложечка тихонько стучала о край кружки, он старался не разбудить. Большой человек, который по утрам старается не шуметь, — это и есть любовь, я теперь понимаю. Тогда я просто переворачивался на другой бок.

По субботам он был мой. Мы ходили в гараж — железный, ржавый снизу, пахло бензином и старым металлом. Я подавал ключи. Он называл их по именам: «на тринадцать», «на семнадцать», — и я гордился, что подаю правильный, а он говорит: «Молодец, инженер».

Инженер. Он звал меня инженером.

На девять лет он принёс из гаража что-то в промасленной тряпке. Я думал — инструмент. А там велосипед. Старый, он подобрал его на свалке и всю зиму чинил по ночам, когда я спал, покрасил в синий. Краска легла неровно, с потёками. Тогда я потёков не видел. Я видел только, что он синий и мой.

— Ну что, инженер, — сказал отец и почесал затылок, будто стеснялся. — Поедешь?

Я падал в тот день раз двадцать, содрал коленку до крови, но не плакал, потому что он бежал рядом, держал за седло, отпускал, ловил и кричал: «Крути! Не смотри вниз — смотри вперёд!»

Смотри вперёд. Знал бы я, что там впереди, — смотрел бы только вниз.

Запомни его таким. С потёками синей краски на руках. Человеком, который не умел сказать «люблю» и потому чинил велосипеды по ночам. Дальше будет другой отец, и я боюсь, что иначе ты не поверишь, что этот вообще был.

Глава 3. Песня

Песню эту мама не из книжки взяла и не из радио. Она её сама придумала, давно, когда меня ещё и человеком толком назвать было нельзя — так, орущий свёрток в пелёнках.

Мне потом рассказывали это за столом как семейную байку, и я просил рассказывать ещё и ещё, хотя знал уже наизусть. Я родился беспокойный. Ночами не спал, кричал без причины, и врачи только разводили руками: здоровый мальчик, чего орёт, перерастёт. А отцу утром на смену. И он, большой, носил меня на руках по тёмной кухне — взад-вперёд, взад-вперёд, от окна к двери, — и качал, и мычал что-то своё, не попадая в ноты, а я орал пуще прежнего. Под утро его сменяла мама. И вот однажды, от усталости, не зная наизусть ни одной настоящей колыбельной, она просто начала петь то, что само складывалось на язык, — тихо, криво, без склада. И я затих. И уснул.

С тех пор это и стало — наша песня. Каждый вечер. Сколько себя помню, столько и она.

Это был целый обряд, и я бы ни одной ступеньки в нём не отдал. Сначала умыться, потом мама подтыкала мне одеяло со всех сторон, плотно, как пеленала когда-то, чтоб «ниоткуда не дуло». Потом садилась на край, и кровать чуть прогибалась под ней в тёплую сторону, и я подкатывался к этой тёплой стороне. Она клала ладонь мне на лоб — не проверить жар, а просто так, накрыть, — и начинала. Голос у неё был негромкий, чуть хрипловатый, домашний. Не концертный голос, а такой, для одного слушателя.

«Спи, мой свет, и я усну, я тебя не отпущу...» — и дальше, тихо-тихо, про утро, про день, про злую тень, которую она прогонит.

А в дверях, в коридоре, останавливался отец. Будто бы по делу — то форточку прикрыть, то на батарею руку положить, тёплая ли. Большой, он стоял в темноте и слушал, думая, что я не вижу. Я видел. Я молчал, чтоб не спугнуть, потому что, если б он понял, что замечен, он бы кашлянул и ушёл, — мужчине же неловко, что его застали за нежностью.

Странная штука: я ни разу не дослушал эту песню до конца. Ни единого раза за все годы. Я всегда засыпал где-то на середине, и куда песня шла дальше — не знал. Мама смеялась: «У этой песни длинный конец, Димка, длиннющий. Ты до него ни разу не дотянул». Я обещал, что вот завтра точно дотерплю, не усну, дослушаю. И назавтра снова проваливался в сон на тёплой её ладони, на полуслове.

Я всё собирался однажды дослушать. Дорасти, стать большим, перетерпеть сон — и узнать наконец, чем она кончается. Так и не перетерпел. В детстве не перетерпел ни разу.

Глава 4. Море

Море я видел один раз в жизни. Один-единственный.

Мы копили на эту поездку, кажется, год — мама в коробке из-под печенья, на верхней полке, и нельзя было даже заглядывать, это была мамина коробка надежды. А потом в одно лето накопили, и отец сказал: «Едем». Просто так сказал, за ужином, и у меня внутри всё подпрыгнуло.

Ехали двое суток на нашей старой машине, которая грелась на подъёмах, и тогда мы останавливались на обочине, поднимали капот, и отец давал ей «отдышаться», а мы с мамой шли рвать что-нибудь в поле. Мама держала на коленях карту, огромную, шуршащую, и водила по ней пальцем, и говорила: «На следующем повороте направо». Мы сворачивали направо — и попадали не туда. Отец ворчал, мама смеялась, я смеялся за ней, и в конце концов мы всё равно выезжали куда надо, только позже. Я тогда думал, что так и должно быть: что заблудиться с этими двумя — это совсем не страшно, а наоборот, весело.

Море я услышал раньше, чем увидел. Мы шли через какие-то кусты по горячей тропинке, и вдруг стало слышно — большое, ровное дыхание за бугром. А потом тропинка кончилась, и оно открылось всё сразу, до самого края неба, и я встал как вкопанный. Я не знал, что бывает столько воды. Что бывает что-то такое большое, больше комбината, больше города, больше всего, что я видел. Я даже немножко испугался.

Отец понял. Он подхватил меня, посадил на плечи — высоко, я схватился за его лоб руками — и пошёл прямо в воду. «Не бойся, инженер, — говорил он. — Я тебя держу. Со мной не утонешь». И заходил всё глубже, и волны били его в грудь и обдавали меня брызгами, солёными, и я визжал — уже не от страха, а от счастья, потому что подо мной была вся эта страшная огромная вода, а я был выше неё, на отцовских плечах, и он держал меня широкими своими ладонями за щиколотки, и я знал, что не упаду.

Мама в глубину не пошла. Она боялась воды и стояла у самой кромки, подвернув сарафан, и волны лизали ей ноги, и она вскрикивала и смеялась, и махала нам, и кричала: «Серёжа, не глубоко! Серёжа, хватит, далеко!» Она всегда за нас боялась. Это была её работа в семье — бояться за нас двоих, пока мы ничего не боялись.

Вечером отец разводил костёр у палатки, и мы пекли картошку в углях, чёрную снаружи, обжигающую внутри, и она была вкуснее всего, что я ел в жизни. А когда стемнело и на небе высыпало столько звёзд, сколько в городе не бывает, мама запела — но не колыбельную, а так, что-то протяжное, негромкое, в темноту, в шум прибоя. И отец не ушёл в дверях стесняться, потому что дверей не было, была ночь и море, и он сидел рядом и слушал в открытую, и в отблесках костра лицо у него было молодое.

В тот день нас сфотографировали. Какой-то дядька с фотоаппаратом ходил по пляжу и за деньги снимал отдыхающих, и отец, хоть денег было в обрез, расщедрился: «Давай, щёлкни нас разок». Мы встали втроём спиной к морю — мама в том самом сарафане, посередине, отец слева, я справа, мокрый, в обвисших трусах, счастливый до невозможности. Дядька сказал «сыр», и щёлкнул, и через день принёс карточку к нашей палатке.

Это была та самая фотография. Та, что потом треснет через мамино лицо. Та, которую я буду носить у сердца, пока она не размокнет и не сотрётся совсем. Но тогда она была новенькая, глянцева, пахла чем-то химическим, и на ней мы были втроём, и за нами было целое море. Я и не знал, что смотрю на это море в первый и последний раз. Думал — теперь будем ездить каждое лето. Накопим в коробке из-под печенья — и поедем.

Коробку эту через год отец вытряхнет на водку. Но про это рано.

Глава 5. Двор

Лето в детстве было длинное. Не как сейчас у вас — мелькнуло и нет. Тогда оно тянулось, день за днём, и каждый день был размером с целую жизнь.

Жили мы с двором. Двор — это был мой второй дом, может, даже первой первого. Серые пятиэтажки буквой «П», в середине — врытые в землю покрышки, песочница, ржавые качели, что визжали на весь квартал, и ковровыбивалка, на которой мы висели, как обезьяны. По углам — гаражи и сараи, царство пацанов, куда девчонок не пускали. Старики во дворе стучали в домино за врытым столиком и кричали «рыба!», и это «рыба!» было слышно из любого окна.

У меня был друг — Пашка из второго подъезда. Мы с ним были не разлей вода, как это бывает только в детстве, когда дружба — это просто что вы вместе с утра до вечера и вам хорошо. На моём синем велосипеде мы катались по очереди: один крутит, другой стоит на багажнике сзади, держась за плечи, и орём оба, когда летим с горки у мусорки. Коленки у меня вечно были в зелёнке и в корках от ссадин. Мама ругалась, мазала, дула, а назавтра всё повторялось.

Была во дворе тётя Валя — соседка наша с первого этажа, толстая, громкая, добрая. У неё всегда что-нибудь пеклось, и она звала нас, чумазых, с улицы: «Эй, голодранцы, идите, пирог стынет!» И мы шли, человек пять, мыли руки под её краном и ели горячий пирог с повидлом, и повидло текло по подбородку. Тётя Валя нас всех знала по именам и по матерям. «Ты ж Ленин, — говорила она мне. — По глазам вижу, Ленин сын». Это она потом, через всё, что случится, вымоет ту кухню. Но тогда она просто пекла пироги, и я думал, что так заведено в мире: что есть двор, и в нём тётя Валя, и она всегда накормит.

Вечером, когда синело и зажигались окна, по дворам летел особый звук — матери звали детей домой. Каждая на свой голос. И я по всему двору узнавал мамин: она выходила на балкон, на наш третий этаж, перегибалась через перила и кричала нараспев: «Ди-и-ма-а! Домо-о-ой!» И сколько бы я ни был увлечён, как бы ни было обидно бросать игру на самом интересном, — я ехал. Потому что дома был ужин, и свет, и она.

Я и теперь, если закрыть глаза, слышу это: «Ди-и-ма-а! Домо-о-ой!» — над тёмным двором, поверх качельного скрипа и стариковского «рыба!». Меня так больше никто никогда не звал домой. Потому что скоро не стало ни дома, ни того, кто зовёт.

Глава 6. Новый год

Новый год у нас был главный праздник. Даже не день рождения — Новый год.

Готовиться начинали заранее. Отец приносил с рынка ёлку, живую, настоящую, и она стояла на морозе на балконе, рядом с моим велосипедом, день или два — «отходила», как говорил отец, — а потом мы вносили её в комнату, и весь дом сразу наполнялся смолой и хвоей. Это был запах чуда, я его ни с чем не спутаю.

Игрушки у нас были старые, мамины ещё, из её детства: стеклянные, лёгкие, кое-где облупившиеся, но выбрасывать их не разрешалось ни за что. Мы доставали их из коробки, переложённые ватой, и каждую мама помнила по имени: вот этот шар — с её первой ёлки, вот эта сосулька — от бабушки. На макушку отец водружал красную звезду, всегда чертыхался, что она не держится, и подвязывал её ниткой. Я подавал игрушки снизу и командовал, куда вешать, — на этом деле я был главный инженер.

Тридцать первого мама с утра гремела на кухне. Резала свой салат в большой миске, которого хватало потом на три дня, а я таскал из миски кусочки, получал по рукам и всё равно таскал. Пахло мандаринами. Мандарины были только под Новый год, поэтому и пахли они не фруктом, а праздником. Я их даже не сразу ел — сначала нюхал, катал по столу, а корки клал на батарею сушиться, и они пахли ещё долго после.

Подарок мне клали под ёлку. Я всегда делал вид, что сплю, а сам подглядывал, как отец в одних носках, крадучись, подсовывает коробку. Один раз это была железная дорога — старая, он опять где-то раздобыл и починил, — и мы полночи гоняли по кругу маленький поезд, отец и я, на полу под ёлкой, а мама смеялась, что у неё в доме двое детей.

Я тогда не знал, что Новый год бывает и другой. Что можно сидеть в казённом зале, и чужие дяди раздадут всем одинаковые кульки в целлофане — мандарин, шоколадка, дешёвая игрушка, всем поровну, чтоб никому не обидно, — и это тоже будет называться «Новый год». Я не знал, что мою красную звезду, и мамины стеклянные шары в вате, и поезд по кругу под ёлкой — что всё это уже сочтено, и таких вечеров у меня осталось наперечёт. Тогда я вешал звезду и думал, что впереди сто таких вечеров. А впереди был один.

Глава 7. Последний хороший день

Есть один день, который я берегу отдельно от всех остальных. Не потому, что в нём случилось что-то особенное, а как раз потому, что не случилось ничего. Обычный день, каких у нас были сотни. Только этот оказался последним обычным — а об этом никто из нас тогда не знал.

Было воскресенье, конец зимы. Снег уже осел и потемнел, с крыш капало на солнце, и в воздухе первый раз запахло не морозом, а чем-то живым. Отец в то воскресенье никуда не пошёл — ни в гараж, ни к Витьку. «Отдохну по-человечески», — сказал он и проспал до девяти, чего почти не бывало. Мама напекла блинов, целую гору, на кухне было бело от пара и сладко, и мы ели их с вареньем, все трое, и никто никуда не спешил.

Потом я убежал во двор. Пашка уже топтался у подъезда, ждал. Кататься было ещё нельзя — велосипед стоял на балконе до весны, — и мы просто носились по двору, толкались, лепили из мокрого тяжёлого снега крепость, которая всё время оседала и превращалась в кучу. Тётя Валя высунулась из окна первого этажа: «Голодранцы, обедать не забудьте!» Мы крикнули, что не забудем. И, конечно, забыли.

К обеду вышел отец. Трезвый, чисто выбритый, в старой своей куртке, и позвал меня: «Инженер, пошли гляну, чего там у тебя цепь заедала». Мы затащили велосипед с балкона в комнату, перевернули колёсами вверх, и отец крутил педаль рукой, слушал, капал маслом на цепь из маленькой маслёнки. Руки у него были уверенные, спокойные. Я подавал ему тряпку, смотрел на эти руки и думал, что нет на свете ничего, чего бы он не починил.

Ничего в тот день не случилось. Мы починили цепь. Мама к вечеру пожарила картошку с луком. По телевизору показывали что-то, и отец смеялся, громко, как раньше, и мама смеялась с ним, а я лежал на полу на животе и был так полон этим тихим, ничем не примечательным счастьем, что даже его не заметил. Счастье такое — его никогда не замечаешь вовремя.

Вечером мама подоткнула мне одеяло и спела. Я, как всегда, уснул на середине, не дослушав.

Я не знал, что таких вечеров осталось совсем мало. Что через несколько дней отец придёт с комбината другой и сядет на табурет, не разуваясь. Если бы я знал — я бы не спал. Лежал бы и смотрел на них двоих во все глаза, запоминал бы каждую мелочь, каждый смех, держался бы за этот день руками и ногами. Но мне никто не сказал. Детям вообще не говорят, какой день последний. Иначе они бы никогда не засыпали.

Глава 8. Маленькие дни

Богато мы не жили. Машина старая, квартира — двушка на третьем этаже, лифт не работал сколько себя помню, соседка снизу стучала шваброй в потолок, если я бегал. Денег хватало, чтобы не считать до зарплаты, но не больше. Отпуск — это палатка у реки, шашлык на двух шампурах, отец с хрипящим транзистором, мама с книжкой в тени. Праздник — это когда к чаю не печенье, а торт. Богатство у нас было другое, не то, что в кошельке.

И я был счастлив. Так счастлив, что даже не знал об этом, — а это и есть настоящее счастье, которого не замечаешь, как воздуха, пока он есть.

Счастье было из мелочей. Из того, как в воскресенье можно залезть к родителям в кровать, в тёплую щель между ними, и лежать, пока светает, а отец делает вид, что спит, и легонько толкает локтем. Из мороженных ягод, забытых в морозилке с осени, — кислых, ледяных, аж зубы ломит. Из белья, которое мама вешала на балконе зимой; оно замерзало колом, я тащил его в комнату твёрдым, как фанера, и оно оттаивало и пахло морозом.

Я говорю про это так подробно не просто так. Это не кино про несчастную семью, где все ждут, когда станет плохо. Нам было хорошо. По-настоящему.

А потом был один вечер.

Март, снег грязный, осевший, с крыш капало. Отец пришёл с комбината раньше обычного и не крикнул из прихожей «Эй, инженер!», как всегда. Вошёл тихо. Сел на табурет, не разуваясь, в куртке, и долго смотрел в одну точку на полу, будто там лежало что-то, чего я не видел.

Мама вышла, вытирая руки полотенцем. Посмотрела на него. И перестала вытирать.

— Серёж?

Он не поднял головы.

— Поговорили сегодня, — сказал он. — На комбинате.

Больше он в тот вечер ничего не объяснил. Ужинали молча. Мама не пела.

Я доел кашу, помыл тарелку и пошёл спать, ничего не понимая. Маленький дурак с синим велосипедом на балконе.

Тогда я не знал, что свет уже начал гаснуть. Это вообще не видно, когда начинается. Темнеет медленно — так медленно, что глаз привыкает, и ты замечаешь только в самом конце, когда уже совсем ничего не видно.

Часть вторая. Трещина

Глава 9. Человек, который ищет работу

Сначала это было даже похоже на праздник.

Отец теперь был дома. Утром не уходил в темноту — спал, и я завтракал тихо, чтобы не разбудить. Он вставал поздно, небритый, садился на кухне с газетой, где обведены ручкой квадратики объявлений, и звонил. Голос у него по телефону был не его — слишком ровный, слишком вежливый. «Да. Да, конечно. Имею опыт. Да, подъеду». Он клал трубку и говорил маме: «Вроде толковые. Завтра съезжу».

Мама кивала и улыбалась. Я тоже верил. Чего не верить — отец же. Он всё умеет, он машину с нуля собрал.

В ту первую неделю я проснулся ночью попить. На кухне горел свет, родители говорили вполголоса, думали, я сплю. Я остановился в коридоре, босиком, и слушал.

— ...весь цех под нож, Лен. Не я один. Полгорода теперь такие, — говорил отец. — Станки распродают. Двадцать два года я там. Двадцать два, понимаешь?

— Может, выходное какое дадут? — это мама, тихо.

— Дали. Две зарплаты. Думают, откупились. — Звякнуло стекло о стол. — Сунули конверт, руку пожали. Иди, Серёга, ты хороший работник, просто время такое. Время у них такое, понимаешь.

Мама что-то сказала, я не расслышал. Кажется, «найдёшь ещё лучше».

— Где, — сказал отец. И больше ничего.

Я не стал заходить. Вернулся в кровать, так и не попив. Слова «цех под нож» крутились в голове всю ночь — мне мерещилось, будто цех живой, большой и железный, и его режут, а он не может убежать.

Тогда я ещё думал, что это ненадолго. Отец же. Он всё умеет.

Он брился, надевал единственный пиджак, который пах нафталином, и уезжал на собеседования. Возвращался к обеду. И с каждым разом возвращался всё быстрее.

— Ну как? — спрашивала мама из кухни.

— Да никак, — отвечал он и шёл снимать пиджак. — Им до сорока. А мне сорок два. Кому нужен мужик сорока двух лет.

Он говорил это спокойно. Но пиджак потом висел в шкафу всё дольше, а газета с квадратиками лежала на холодильнике, и квадратиков на ней не прибавлялось.

Деньги я тогда впервые увидел не как деньги, а как что-то живое, что может кончиться. Мама стала готовить по-другому. Мяса меньше, картошки больше. Яблоко в кашу больше не клала — то ли подорожали, то ли стало не до чудес. Она устроилась убирать в две конторы, уходила в шесть утра и в шесть вечера, и я научился сам разогревать суп и сам делать уроки, и в квартире стало очень тихо.

А отец сидел. Большой человек сидел на кухне и смотрел в окно, и руки, которые собирали двигатель, лежали на столе без дела. Я тогда не знал, что мужчине без работы хуже всего не от денег. От того, что он перестаёт быть нужным. Это съедает изнутри быстрее любой болезни.

Первую бутылку он принёс в апреле. Пиво. Сказал — «голова болит, для сна». Я и внимания не обратил.

Глава 10. Запах

Запах в доме поменялся.

Раньше — лук, хлеб, мороз с балкона. Теперь поверх всего лёг другой: кисловатый, тяжёлый, он шёл от отца, от его дыхания, от майки, в которой он спал не раздеваясь. Сначала по вечерам. Потом и днём.

Пиво стало водкой — водка дешевле и быстрее, я это позже понял. Бутылка стояла под раковиной, за ведром, будто он от себя её прятал. Иногда я заглядывал туда — пустая. Иногда полная. Я научился по этому угадывать, какой будет вечер.

Он менялся не сразу. Это и есть самое страшное — что не сразу. Будь оно сразу, мама схватила бы меня и убежала в первый же день. Но человек гаснет по чуть-чуть, и ты каждый день говоришь себе: ну сегодня же он почти как раньше. Вон, утром погладил по голове. Значит, не всё пропало. Значит, можно ещё потерпеть.

Терпели.

Сначала он просто злился. На комбинат, на «этих сук в кадрах», на страну, на телевизор. Кричал в экран. Потом стал злиться на маму — что поздно пришла, что суп холодный, что смотрит «вот так». Я не понимал, как можно смотреть «вот так», но он находил в её лице что-то, что его бесило, и придирался к этому.

Однажды он впервые поднял на неё голос при мне. По-настоящему. Из-за денег — мама сказала, что отложила на мои ботинки, а он услышал «зачадила».

— Заначка, значит, — сказал он тихо, и от этой тишины мне стало холоднее, чем от крика. — От меня прячешь.

— Серёж, это Диме на осень...

— На осень. — Он встал. Стул проехал по полу с таким звуком, что я вздрогнул. — А я, значит, не человек. Я тут пустое место.

Он не ударил тогда. Он ушёл, хлопнув дверью так, что с полки упала фотография — мы трое на море, я в смешной панаме. Стекло треснуло наискось, через мамино лицо.

Мама подняла рамку, посмотрела на трещину. И не заплакала. Она положила фото в ящик стола, стеклом вниз, и сказала мне:

— Иди делай уроки, сынок. Всё хорошо.

Тогда я первый раз понял, что взрослые врут не для того, чтобы обмануть. А чтобы ты ещё немного побыл ребёнком. Она тянула это как могла. Держала на себе и две работы, и меня, и его. Я не знаю, как она не сломалась раньше.

А отец всё чаще не находил работу с утра — потому что искать надо трезвым, а трезвым он просыпался всё реже.

Глава 11. Светлые промежутки

Но он не всё время был такой. Вот что трудно объяснить тому, кто не жил с этим рядом.

Между плохими днями случались хорошие. Светлые промежутки — я их так про себя называл, хотя слова такого тогда не знал, просто чувствовал: вот сейчас посветлело. Он просыпался утром, и по тому, как он выходил на кухню, я сразу понимал — сегодня будет отец, а не тот, другой. Он выходил тихий, виноватый, с серым помятым лицом, наливал себе воды, много, стакан за стаканом, и смотрел в окно, и было видно, что ему стыдно. Стыд — это ведь хороший знак. Стыд бывает только у живого человека, а не у пустого.

Один раз он сам вылил бутылку. Я видел. Достал её из-под раковины, открыл и вылил в слив, всю, до капли, и стоял, держась за мойку, и смотрел, как она уходит. «Всё, — сказал он, не мне, себе. — Хватит. Завязал». И мама за его спиной в дверях прижала руку к губам и смотрела на него так, что у меня защемило, — с такой надеждой, которую боялась показать, чтоб не спугнуть.

И на несколько дней возвращался мой отец. Тот самый. Он брился, и от него опять пахло одеколоном, а не кислятиной. Он чинил то, до чего год не доходили руки, — приладил наконец дверцу на кухонном шкафу, что висела на одной петле, смазал входную дверь, чтоб не скрипела. Однажды позвал меня: «Пошли, инженер, прогуляемся». И мы пошли, просто так, вдоль гаражей, и он рассказывал, как, может, устроится к Витьку в автосервис, тот звал, надо только себя в руки взять, и я шёл рядом, заглядывал ему в лицо снизу и верил каждому слову. Я так хотел верить, что верил и за себя, и за маму, и за весь свет.

Вот это и было самое жестокое. Не побои даже. А надежда. Потому что каждый светлый промежуток поднимал тебя повыше — а падать с высоты больнее. Он держался три дня, пять, один раз почти две недели. А потом приходил вечер, когда он возвращался чуть позже обычного, и ещё в коридоре я ловил знакомый кислый запах, и сердце у меня падало в живот. Витёк, наверное, не взял. Или взял, но «обмыли». Или просто день был тяжёлый, а лёгкого выхода из тяжёлого дня он знал только один.

И свет гас опять. И мама убирала недопоказанную надежду обратно, поглубже, чтоб не мешала жить. А я переставал ждать прогулку вдоль гаражей. До следующего раза. Потому что светлый промежуток всё равно потом будет — и я опять поверю. Так уж устроен ребёнок: он не умеет не надеяться на своего отца.

Глава 12. Школа

В школе никто ничего не знал. Я об этом заботился.

Я рано выучился двойной жизни. Дома была одна жизнь, про которую нельзя рассказывать, а в школе — другая, где надо делать вид, что у меня всё как у всех. Это тяжёлая работа для маленького — всё время делать вид. Тяжелее уроков.

Я не высыпался — ночами я слушал лестницу, ждал отцовских шагов, по ним угадывал, какой будет ночь, и засыпал только под утро, когда становилось ясно, что обошлось. Поэтому на уроках меня клонило в сон. Я клевал носом над тетрадкой, а Нина Петровна, наша учительница, стучала указкой по моей парте: «Соколов, ты спишь?» И класс смеялся, а я мотал головой и пялился в доску, где плыли буквы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.